

ВЕБЕР М.

НАУКА КАК ПРИЗВАНИЕ И ПРОФЕССИЯ.

(Сокращенный перевод)

В настоящее время отношение к научному производству как профессии обусловлено прежде всего тем, что наука вступила в такую стадию специализации, какой не знали прежде, и что это положение сохранится и впредь. Не только внешне, но как раз внутренне дело обстоит таким образом, что отдельный индивид может создать в области науки что-либо завершённое только при условии строжайшей специализации. Всякий раз, когда исследователь вторгается в соседнюю область — у социологов это происходит постоянно, притом по необходимости, — у исследователя возникает смутное сознание, что его работа может разве что предположить специалисту познанные постановки вопроса, которые тому при его специальной точке зрения не так легко придут на ум, но что его собственное исследование неизбежно должно оставаться в высшей степени несовершенным. Только благодаря строгой специализации человеку, работающему в науке, даётся, может быть, один — единственный раз в жизни осознать во всей полноте, что вот ему удалось нечто такое, что останется надолго. Действительно, завершённая и дельная работа — это в наши дни всегда специальная работа. И поэтому, кто не способен однажды надеть себе, так сказать, шоры на глаза и проморгнуться мыслью, что вся его судьба зависит от того, правильно ли он делает это вот предположение в этом вот месте рукописи, тот пусть не касается науки. Он никогда не испытает того, что называется увлечением наукой. Без этого странного упоения, вызывающего улыбку у всякого постороннего человека, без этой страсти, без убеждённости в том, что "должны были пройти тысячелетия, прежде чем появился ты, и другие тысячелетия молчаливо ждут", удастся ли тебе эта догадка, — без этого человек не имеет призвания к науке, и пусть он занимается чем-нибудь другим. Ибо для человека не имеет никакой цены то, что он не может делать со страстью.

Однако даже при наличии страсти, какой бы глубокой и подлинной она ни была, ещё долго может не получиться результатов. Правда, она является предварительным условием самого главного: "вдохновения". Сегодня среди молодежи очень распространено представление, что наука стала чем-то вроде арифметической задачи, что она создается в лабораториях или статистических картотеках одним только холодным рассудком, а не всей "душой", — так же как "на фабрике". При этом прежде всего следует заметить, что рассуждающие подобным образом по большей части не знают ни то-

го, что происходит на фабрике, ни того, что делают в лаборатории. И там и здесь человеку нужна идея и притом идея верная, и только благодаря этому он сможет сделать нечто ценное. Не ведь ничего не приходит в голову по желанию. Одним желанием расчетом ничего не достигнешь. Конечно, расчет тоже составляет необходимое предварительное условие, так, например, каждый социолог должен быть готов к тому, что ему и на старости лет, может быть, придется меслянами перебирать в голове десятки тысяч совершенно тривиальных арифметических задач. Попытка же полностью переложить решение задачи на механическую подсекную силу не проходит безнаказанно: конечный результат часто оказывается мизерным. Но если у исследователя не возникает вполне определенных идей о направлении его расчетов, а во время расчетов — о значении отдельных результатов, то не получится даже и этого мизерного итога. Идея подготавливается только на основе упорного труда. Разумеется, не всегда. Идея дилетанта с научной точки зрения может иметь точно такое же или даже большее значение, чем открытие специалиста. Как раз дилетантам мы обязаны нашими лучшими многими установками проблем и многими познаниями. Дилетант отличается от специалиста, как сказал Гельмгольц о Роберте Махере, только тем, что ему не хватает надежности рабочего метода и поэтому он большей частью не в состоянии проверить значение случайно возникшей догадки, оценить и провести в жизнь. Внезапная догадка не заменяет труда. И, с другой стороны, труд не может заменить или принудительно вызвать к жизни такую догадку, так же как этого не может сделать страсть. Только оба эти момента — и именно оба вместе — ведут за собой догадку. Догадка появляется тогда, когда это угодно ей, а не когда это угодно нам. И в самом деле, лучшие идеи, как показывает Бернштейн, приходят на ум, когда раскуриваем сигару на диване или — как с естественной научной точностью рассказывает о себе Гельмгольц — во время прогулки по улице, слегка поднимаясь в гору, или в какой-либо другой подобной ситуации, но во всяком случае тогда, когда их не идешь, — а не во время размышлений и поисков за письменным столом. Но, конечно же они не пришли бы в голову, если бы этому не предшествовали именно размышления за письменным столом и страстное упорное вопрошание.

Научный работник должен так же как и мы привыкнуть к этому риску. Научный работник должен привыкнуть также к тому риску, которым сопровождается всякая научная работа: придет "вдохновение"

или не придет? Можно быть превосходным работником и ни разу не сделать собственного важного открытия. Однако, было бы заблуждением полагать, что в науке дело обстоит подобным образом и что, например, в конторе все происходит иначе, чем в лаборатории. Коммерсанту или крупному промышленнику без "коммерческой фантазии", т.е. без выдумки - гениальной выдумки - лучше было бы оставаться приказчиком или техническим чиновником; он никогда не создаст организационных нововведений. Вдохновение отнюдь не играет в науке, как это представляет себе ученое чванство, большой роли, чем в практической жизни, где действует современный предприниматель. И, с другой стороны, - чего тебе часто не признают - оно играет здесь не меньшую роль, чем в искусстве. Это ведь детское представление, что математик приходит к какому-либо научно ценному результату, работая за письменным столом с помощью линейки или других механических средств: математическая фантазия, например, Вейерштрасса, по смыслу и результату, конечно, совсем иная, чем фантазия художника, т.е. качественно от нее отличается, но психологический процесс здесь один и тот же. У обеих - упоение / в смысле платоновского "экстаза" / и "вдохновение".

Есть ли у кого-то научное вдохновение, это зависит от скрытых от нас будей, а кроме того, от "дара". Эта несомненная истина сыграла не последнюю роль в возникновении легенды у молодежи - что вполне понятно - очень популярной установки служить некоторым идолам; культ этих идолов, как мы видим, широко практикуется сегодня на всех перекрестках и во всех журналах. Эти идолы - "личность" и "переживание". Оба тесно связаны: господствует представление, что последнее создает первую и составляет ее принадлежность. Мужительно заставляют себя "переживать", ибо "переживание" неотделимо от образа жизни, подобающего личности, а в случае неудачи нужно по крайней мере делать вид, что у тебя есть этот небесный дар. Раньше такое переживание называлось "чувством" / / . Да и о том, что такое "личность", тогда имели, я полагаю, точное представление.

... "Личность" в научной сфере есть только у того, кто служит одному лишь делу. И это так не только в области науки. Мы не знаем ни одного художника, который делал бы что-либо другое, кроме как служить делу и только ему. Ведь даже личности такого ранга, как Гете, если говорить о его искусстве,

нанесли ущерб то обстоятельство, что он посмел превратить в творение искусства свое "я". Пусть даже это покажется сомнительным — во всяком случае нужно быть Гете, чтобы позволить себе подобное, и каждый по крайней мере согласится, что даже и такому художнику, как Гете, рождаящемуся раз в тысячелетие, приходится за это расплачиваться. Точно так же дело обстоит в политике. Однако об этом сегодня мы не будем говорить. Но в науке совершенно определенно не является "личностью" тот, кто сам выходит на сцену как импрессарио того дела, которому он должен был бы посвятить себя, кто хочет узаконить себя через "переживание" и спрашивает: как доказать, что ~~я~~ я не только специалист: как показать, что я — по форме или по существу — говорю такое, чего еще никто не сказал так, как я? — явление, ставшее сегодня массовым, делающее все ничтожно малым, уничтожающее того, кто задает подобный вопрос, не будучи в силах подняться до высоты и достоинства дела, которому он должен был бы служить и значит — быть преданным только своей задаче. Так что и здесь нет отличия от художника.

Однако, хотя предварительные условия нашей работы характерны и для искусства, судьба ее глубоко отлична от судьбы художественного творчества. Научная работа влечена в движение прогресса. Напротив, в области искусства в этом смысле не существует никакого прогресса. Неверно думать, что произведение искусства какой-либо эпохи, разработавшее новые технические средства или, например, законы перспективы, благодаря этому в чисто художественном отношении выше стоит, чем произведение искусства, абсолютно лишенное всех этих средств и законов, если только оно было создано в соответствии с материалом и формой, т.е. если предмет был выбран и оформлен по всем правилам искусства без применения позднее появившихся средств и условий. Совершенное произведение искусства никогда не будет превзойдено и никогда не устареет; отдельный индивид лично для себя может по-разному оценивать его значение, но никто никогда не может сказать о художественно совершенном произведении, что его "превзошло" другое произведение, в равной степени совершенное.

Напротив, каждый из нас знает, что сделанное им в области науки устареет через 10, 20, 40 лет. Такова судьба, более того, — таков смысл научной работы, которому она подчинена и которому служит, и это как раз составляет ее специфическое отличие от всех остальных элементов культуры; всякое совершенное

исполнение замысла в науке означает новые "вопросы", оно по своему существу желает быть превзойденным. Сэтим должен смириться каждый, кто хочет служить науке. Научные работы могут, конечно, долго сохранять свое значение, доставляя "наслаждение" своими художественными качествами или оставаясь средством обучения научной работе. Но быть превзойденным в научном отношении — это, повторяю, не только наша общая судьба, но и наша общая цель. Мы не можем работать, не питая надежды на то, что другие пойдут дальше нас. В принципе этот прогресс уходит в бесконечность.

И тем самым мы приходим к проблеме смысла науки. Ибо отнюдь не разумеется само собой, что нечто, подчиненное такого рода закону, само по себе осмысленно и разумно. Почему занимаемся тем, что в действительности никогда не кончается и не может закончиться? Прежде всего познаем ответ: ради чисто практических, в более широком смысле слова — технических целей, чтобы ориентировать наше практическое действие в соответствии с теми ожиданиями, которые подсказывает нам научный опыт. Хорошо. Но это имеет какой-то смысл только для практика. А какова же внутренняя позиция самого человека науки по отношению к своей профессии, если он вообще стремится стать ученым? Он утверждает, что занимается наукой "ради нее самой", а не только ради тех технических и практических достижений, которые могут улучшить питание, одежду, освещение, управление, . . . Но что же осмысленное надеется он осуществить своими творениями, которым заранее предопределено устареть, какой смысл усматривает он, следовательно, в том, чтобы включиться в это специализированное и уходящее в бесконечность производство? Для ответа на этот вопрос надо принять во внимание несколько общих соображений.

Научный прогресс является частью и притом важнейшей частью того процесса интеллектуализации, который происходит с нами на протяжении тысячелетий и по отношению к которому в настоящее время обычно занимает крайне негативную позицию.

Прежде всего уясни себе, что же, собственно, практически означает эта интеллектуалистическая рационализация, осуществляющаяся посредством научной техники, жизни и науки. Означает ли она, что сегодня каждый из нас, сидящих здесь в зале, лучше знает жизненные условия своего существования, чем какой-нибудь

индус или готтергот? Едва ли. Тот из нас, кто едет в трамвае, если он не физик по профессии, не имеет понятия о том, как этот трамвай приводится в движение. Ему и не нужно этого знать. Достаточно того, что он может "расчитывать" на определенное "поведение" трамвая, в соответствии с этим он ориентирует свое поведение, но как привести трамвай в движение — этого он не знает. Дикарь несравненно лучше знает свои орудия. Хотя мы тратим деньги, дарю пари, что даже присутствующие в зале коллеги специалисты по политической экономии, если таковые здесь есть, каждый, вероятно, по-своему ответят на вопрос: как получается, что за деньги можно что-то купить. Дикарь знает, каким образом он обеспечивает себе ежедневное пропитание и какие институты оказывают ему при этом услугу. Следовательно, возрастающая интеллектуализация и рационализация не означает роста знаний относительно жизненных условий, в которых приходится существовать. Она означает нечто иное: люди знают или верят в то, что стоит только захотеть, и в любое время все это можно узнать; что, следовательно, принципиально нет никакой таинственности, не поддающейся учету сил, которые здесь действуют, что напротив, всеми вещами в принципе можно овладеть путем расчета. Это означает, что мир расколдован. Больше не нужно прибегать к магическим средствам, чтобы склонить на свою сторону или подчинить себе духов, как это делал дикарь, для которого существовали подобные таинственные силы. Теперь все делается с помощью технических средств и расчета. Вот это и есть интеллектуализация.

Но как этот процесс расколдования, происходящий в западной культуре в течение тысячелетий, и вообще этот "прогресс", в котором принимает участие и наука — качество зова и движущей силы, — имеет ли он смысл, выходящий за пределы чисто практической и технической сферы? Подобные вопросы самым принципиальным образом поставлены в произведениях Льва Толстого. Он пришел к ним очень своеобразными путями. Его размышления все более сосредоточивались вокруг вопроса, имеет ли смысл какой-либо смысл или нет. Его ответ таков: для культурного человека — нет. И именно потому "нет", что жизнь отдельного человека, жизнь цивилизованная, включенная в бесконечный "прогресс", по ее собственному внутреннему смыслу не может иметь

конца, завершения. Человек умирающий не достигает вершины — эта вершина уходит в бесконечность. Авраам или какой-нибудь крестьянин в какие-нибудь эпохи умирали "стар и преситившись жизнью", потому что был включен в органический круговорот жизни, потому что жизнь его по самому ее смыслу и на закате его дней давала ему то, что могла дать; для него не оставалось загадок, которые ему хотелось бы разрешить, и ему было уже довольно.

Напротив, человек культуры, включенный в цивилизацию, постоянно обогащающийся идеями, знаниями, проблемами, может "устать от жизни", но не может пресытиться ею. Ибо он улавливает лишь ничтожную часть того, что все вновь и вновь рождает духовная жизнь, причем всегда только что-то предварительное, неокончательное, а потому для него смерть — событие, лишенное смысла. А так как бессмысленна смерть, то бессмысленна и культурная жизнь как таковая — ведь именно она своим бессмысленным "прогрессом" обрекает на бессмысленность и самую смерть. В поздних романах Толстого эта мысль составляет основное настроение его искусства.

Как тут быть? Есть ли у "прогресса" как такового постижимый смысл, выходящий за пределы технической сферы, так, чтобы служение прогрессу могло стать призванием, имеющим действительно некоторый смысл? Такой вопрос следует поставить. Однако это уже будет не только вопрос о том, что означает наука как профессия и призвание для человека, посвятившего себя ей. Это и другой вопрос: каково призвание науки в жизни всего человечества? Какова ее ценность.

Здесь противоположность между прежним и современным пониманием науки разительна. Вспомните удивительный образ, приведенный Платоном в диалог седьмой книге "Государства", — образ людей, прикованных к пещере, чьи лица обращены в стену пещеры, а источник света находится позади них, так что они не могут его видеть; поэтому они заняты только тенями, отбрасываемыми на стену, и пытаются объяснить их смысл. Но вот одному из них удастся освободиться от цепей, он оборачивается и видит солнце. Ослепленный, он сначала находит себе путь и, заикаясь, рассказывает о том, что видел. Но другие утверждают, что он безумен. Однако, постепенно он учится созерцать свет, и теперь его задача состоит в том, чтобы спуститься к людям в пещеру и вывести их к свету.

Он — философ, а солнце — это истина науки, которая одна не гонится за призраками и тенями, а стремится к истинному бытию.

Кто сегодня так относится к науке? Сегодня как раз у молодежи появилось скорее противоположное чувство, а именно, что мыслительные построения науки представляют собой лишенное реальности царство надуманных абстракций, пытающихся своими иссохшими пальцами ухватить плоть и кровь действительной жизни, но никогда не достигающих этого. И, напротив, в жизни, в том, для Платона было игрой теней на стенах пещеры, бьется пульс реальной действительности, все остальное лишь безжизненные отлеченные тени, и ничего больше.

Как совершилось такое превращение? Страстное воодушевление Платона в "Государстве" объясняется в конечном счете тем, что в его время впервые был открыт для сознания смысл одного из величайших средств всякого научного познания — смысл понятий. Во всем своем значении понятие было открыто Сократом. И не им одним. В Индии обнаруживаются начатки логики, похожие на ту логику, какая была у Аристотеля. Но нигде нет осознания значения этого открытия, кроме как в Греции. Здесь, видимо, впервые в руках людей оказалось средство, с помощью которого можно заключить человека в логические тиски, откуда для него нет выхода, пока он не признает: или что он ничего не знает, или что это — именно вот это и ничто иное — есть истина, вечная, неприходящая истина, в отличие от действий и поступков слепых людей. Это было необычайное переживание, открывшееся ученикам Сократа. Из этого, казалось, вытекает следствие: стоит только найти правильное понятие прекрасного, доброго или, например, храбрости, души, и чего бы то ни было еще, и будет достигнуто также их истинное бытие. А это опять-таки, казалось, открывало путь к тому, чтобы научиться самому и научить других, как надлежит человеку поступать в жизни, прежде всего в качестве гражданина государства. Ибо для греков, мысливших исключительно политически, от этого вопроса зависело все. Здесь и кроется причина их занятий наукой.

Рядом с этим открытием эллинского духа появился второй великий инструмент научной работы, детище эпохи Ренессанса — рациональный эксперимент как средство надежно контролируемого познания, без которого была бы невозможна современная эмпирическая наука. Экспериментировали, правда, и раньше: в области физиологии эксперимент существовал, например, в Индии, в аскетической технике

технике погов; в древней Греции был эксперимент математический, связанный с военной техникой, в средние века эксперимент применялся в горном деле. Но возведение эксперимента в принцип исследования как такового — заслуга Ренессанса. Великими новаторами были тогда пионеры в области искусства: Леонардо и другие, прежде всего экспериментаторы в музыке XVI в. с экспериментальными температурными клавирами. От них эксперимент перекочевал в науку, прежде всего благодаря Галилею, а в теорию — благодаря Бэкону, затем его перенимали отдельные точные науки в университетах континента, прежде всего в Италии и Нидерландах.

Что же означала наука для этих людей, живших на пороге Нового времени? Для Художников-экспериментаторов типа Леонардо и музыкальных новаторов она означала путь к истинному искусству, а это для них значило прежде всего — к истинной природе. Искусство тем самым возводилось в ранг особой науки, а художник в социальном отношении и по смыслу своей жизни — в ранг доктора. Именно такого рода честолюбие лежит в основе, например, "Книги о живописи" Леонардо да Винчи. А сегодня? "Наука как путь к природе" — для молодежи это звучит кощунством. Наоборот, необходимо освобождение от научного интеллигентизма, чтобы вернуться к собственной природе и тем самым к природе вообще! Может быть, как путь к искусству? Такое предположение ниже всякой критики.

Но в эпоху возникновения точного естествознания от науки ожидали еще большего. Если вы вспомните высказывание Сваммердама: "Я докажу вам существование божественного провидения, анатомируя вошь", — то вы увидите, что собственной задачей научной деятельности, находившейся под неосознанным влиянием протестантизма и пуританства, считали открытие пути к богу. В то время его больше не находили у философов с их понятиями и дедукциями; что бога невозможно найти на том пути, на котором его искало средневековье, в этом была убеждена вся инстинктивная теология того времени, и прежде всего Шпенер. Бог сокрыт, его пути — не наши пути, его мысли — не наши мысли. Но в точных естественных науках, где его творения физически осязаемы, надеялись напасть на след его намерений относительно мира.

А сегодня? Кто сегодня, кроме некоторых взрослых детей, которых можно встретить как раз среди естествоиспытателей, кто еще

верит в то, что знание астрономии, биологии, физики или химии может — хоть в малейшей степени — объяснить нам смысл мира или хотя бы указать, на каком пути можно напасть на след этого "смысла", если он существует? Если наука и может что-нибудь сделать, то скорее убить веру в то, что вообще существует нечто такое, как "смысл" мира! И уж тем более нелепо рассматривать науку как путь "к Богу" — ее, эту особенно чуждую богу силу. А что она именно такова — в этом сегодня в глубине души не сомневается никто, признается он себе в этом или нет. Избавление от рационализма и интеллектуализма науки есть основная предпосылка жизни в единстве с божественным — это или по смыслу тождественный ему тезис стал основным лозунгом нашей религиозно настроенной или стремящейся обрести религиозное переживание молодежи. И не только религиозное, а даже переживание вообще. Однако при этом избирается странный путь: то единственное, чего до сих пор не коснулся интеллектуализм, а именно иррациональное, пытаются довести до сознания и рассмотреть в лупу. Ведь именно к этому практически приходит современная интеллектуалистическая романтика иррационального. Этот путь освобождения от интеллектуализма дает как раз противоположное тому, что надеялись на нем найти те, кто на него вступил. Наконец, тот факт, что науку, т.е. цивилизацию основанную на ней технику овладения жизнью, с ихним оптимизмом приветствовали как путь к счастью, я могу оставить в стороне после уничтожающей критики Ницше по адресу "последних людей, которые изобрели счастье". Кто верит в это, кроме некоторых взрослых детей на кафедрах или в редакторских кабинетах?

В чем же состоит смысл науки как профессии теперь, когда разжались рассеялись все идеалы прежние иллюзии, благодаря которым наука выступала как "путь к истинному бытию", "путь к истинному искусству", "путь к истинной природе", путь к истинному богу", "путь к истинному счастью"? Самый простой ответ на этот вопрос дал Толстой: она лишена смысла, потому что не дает никакого ответа на единственно важный вопрос: "Что нам делать? Как нам жить?" А тот факт, что она не дает ответа на этот вопрос, совершенно неоспорим. Вопрос лишь в том, как в каком смысле она не даст "никакого" ответа. Может быть, вместо этого она в состоянии дать кое-что тому, кто правильно ставит вопрос?

Сегодня часто говорят о "беспредпосылочной" науке. Существует ли такая наука? Все зависит от того, что под этим понимают. Важной научной работе всегда предпосылается определенная значимость правил логики и методики — этих всеобщих основ нашей ориентации в мире. Что касается этих предпосылок, то они, по крайней мере с точки зрения нашего специального вопроса, наименее проблематичны. Но существует и еще одна предпосылка: важность результатов научной работы, их научная ценность. Очевидно, здесь-то и коренятся все наши проблемы. Ибо эта предпосылка сама уже недоказуема средствами науки. Можно только указать на ее конечный смысл, который затем или отклоняют или принимают в зависимости от собственной конечной жизненной установки.

Различною является, далее, связь научной работы с этими ее предпосылками: она зависит от структуры науки. Естественные науки, например, физика, химия, астрономия считают само собой разумеющимся, что конструируемые наукой внешние законы космических явлений стоят того, чтобы знать их. Не только потому, что с помощью этого знания можно достигнуть технических успехов, но и "ради него самого" — если наука есть "призвание". Сама эта предпосылка недоказуема. И точно так же недоказуемо, достоин ли существования мир, который описывают естественные науки, имеет ли он какой-нибудь "смысл" и есть ли смысл существовать в таком мире. Об этом вопрос не ставится.

Или возьмите такое высокоразвитое в научном отношении практическое искусство, как современная медицина. Всеобщая "предпосылка" медицинской деятельности, если ее выразить тривиально, состоит в утверждении, что необходимо сохранять жизнь просто как таковую и по возможности уменьшать страдания просто как таковые. А сама эта задача проблематична. Своими средствами медицина поддерживает смертельно больного, даже если тот умоляет избавиться его от жизни, даже если его родственники, для которых эта жизнь утратила ценность, которые хотят избавиться его от страданий, которым не хватает средств для поддержания утраченной еще ценности жизни (речь может идти о каком-нибудь малом помешанном), желают и должны желать его смерти, признаются они в этом или нет. Только предпосылки медицины и уголовный кодекс мешает врачу отказать поддержать смертельно больного.

Является ли жизнь ценной и когда? Об этом медицина не спрашивает. Все естественные науки дают нам ответ на вопрос, что мы должны делать, если мы хотим технически овладеть жизнью. Не хотим ли мы этого и должны ли мы это делать и не есть ли это в конечном счете какой-нибудь ямыс — эти вопросы они оставляют совершенно не решенными или принимают это в качестве предпосылки для своих целей.

Или возьмите такую дисциплину, как искусствоведение. Эстетика дан факт, что существует произведение искусства. Она пытается обосновать, при каких условиях этот факт имеет место. Но она не ставит вопроса о том, не является ли царство искусства, может быть, царством дьявольского величия, царством мира сего, которое в самой своей глубине обращено против бога, а по своему глубоко вкоренившемуся аристократическому духу обращено против братства людей. Эстетика, стало быть, не ставит вопроса о том, должны ли существовать произведения искусства.

Или возьмите юриспруденцию. Она устанавливает, что является значимым: в соответствии с правилами юридического мышления, отчасти принудительно логического, отчасти связанного конвенции — ально данными схемами; следовательно, правовые принципы и определенные методы их толкования заранее признаются обязательными. Должны ли существовать право и должны ли быть установленными именно эти правила — на эти вопросы юриспруденция не отвечает. Она может только указать: если хотят определенного результата, то такой-то правовой принцип в соответствии с нормами нашего правового мышления — подходящее средство его достижения.

Или возьмите исторические науки о культуре. Они учат понимать политические, художественные, литературные и социальные явления культуры, исходя из условий их происхождения. Но сами они не дают ответа ни на вопрос о том, были ли ценными эти явления культуры и должны ли они дальше существовать, ни на другой вопрос: стоит ли прилагать усилия для их изучения. Они предполагают уверенность, что участие таким путем в сообществе "культурных людей" представляет интерес.

Но что это на самом деле так, они не в состоянии никому "научно" доказать, а то, что они принимают это как предпосылку, еще отнюдь не доказывает, что это само собой разумеется. И это в действительности отнюдь не разумеется само собой.

Будем говорить о наиболее близких мне дисциплинах — социологии, истории, политикоэкономии и теории государства, а также о тех формах философии культуры, которые ставят своей целью истолкование этих дисциплин. Есть такое мнение — и я его поддерживаю, — что политика не должна иметь место в аудиториях. Студенты в аудитории науки не должны заниматься политикой. Если бы, например, в аудитории моего прежнего коллеги Дитриха Шефера в Берлине пацифистски настроенные студенты стали окружать кафедру и поднимать шум, то я считал бы это столь же примитивным явлением, как и то, что делали антипацифистски настроенные студенты в аудитории профессора Фростера, воззрения которого я совсем не разделяю.

Впрочем, политикой не должен заниматься в аудитории и преподаватель. И прежде всего в том случае, если он исследует сферу политики как ученый. Ибо практически-политическая установка и научный анализ политических образований и партийной позиции — это две разные вещи. Когда в народном собрании говорят о демократии, то из своей личной позиции не делают никакой тайны; ясно выразить свою позицию — здесь непринятая обязанность и долг. Слова, которые при этом употребляются, выступают в таком случае не как средство научного анализа, а как средство завербовать политических сторонников. Они здесь — не лекашки для взрыхления почвы созерцательного мышления, а мечи, направленные против противников, средство борьбы. Напротив, на лекции или в аудитории было бы преступлением пользоваться словами подобным образом. Здесь следует, если, например, речь идет о "демократии", представить ее различные формы, проанализировать, как они функционируют, установить, какие последствия для жизненных отношений имеет та или иная из них, затем противопоставить им другие, недемократические формы политического порядка и по возможности стремиться к тому, чтобы слушатель нашел такой пункт, исходя из которого, он мог бы занять позицию в соответствии с с о с в о и и и высшими идеалами. Но подлинный наставник будет очень осторожен — ^{не} нависать с высоты кафедры слушателя ту или иную позицию — будь то откровенно или путем внушения, — потому что, конечно, это самый нечестный способ, когда "заставляет говорить сами факты".

Почему, собственно, мы не должны этого делать? Я допускаю, что некоторые весьма уважаемые коллеги придерживаются того мнения, что такое самоограничение вообще не возможно, а если бы оно и было возможно, то было бы просто напиздеи избегать всего этого. Конечно, никому нельзя научно доказать, в чем состоит его обязанность как академического преподавателя. Можно только требовать от него интеллектуальной честности — осознания того, что установление фактов, установление математического или логического положения вещей, или внутренней структуры культурного достояния, с одной стороны, и с другой стороны ответ на вопрос **о с е н с е т и** культуры и ее отдельных образований, и соответственно ответ на вопрос о том, как следует действовать в рамках культурной общности и политических созвон, — это две совершенно разные проблемы.

Если он после этого спросит, почему он не должен обсуждать эти проблемы в аудитории, то на это следует ответить: пророку и демагогу не место на кафедре в учебной аудитории. Пророку и демагогу сказано: "Иди на улицу и говори открыто". Это значит — иди туда, где возможна критика. В аудитории преподаватель сидит на-против своих слушателей: они должны молчать, а он — говорить. И я считаю безответственным пользоваться тем, что студенты ради своего будущего должны посещать лекции преподавателей и что там нет никого, кто мог бы выступить против него с критикой; пользоваться своими знаниями и научным опытом не для того, чтобы принести пользу слушателям — в чем состоит задача преподавателя, — а для того, чтобы привить им свои личные политические взгляды.

Конечно, возможен такой случай, когда человеку не удастся полностью исключить свои субъективные пристрастия. Тогда он подвергается острайшей критике на форуме собственной совести. Но это ничего еще не доказывает, ибо возможны и другие, чисто фактические ошибки, и все-таки они не являются свидетельством против долга — искать истину. Я отвергаю субъективное пристрастие именно в чисто научных интересах. Я готов жрибанаккинами найти в работах наших историков доказательство того, что там, где человек науки приходит со своим собственным ценностным суждением, там уже нет места полному пониманию фактов. Но это выходит за рамки сегодняшней темы и требует длительного обсуждения.

Я спрашиваю только об одном: как может, с одной стороны, верующий католик, с другой — масон, слушая лекцию о формах церкви и государства или об истории религии, как могут они когда-либо сойтись в своих оценках этих вещей? Это исключено. И тем не менее у академического преподавателя должно быть желание принести пользу своим знаниями и своим методом и тому, и другому. Такое требование он должен поставить перед собой. Вы справедливо возражаете: верующий католик никогда не примет того понимания фактов, связанных с происхождением христианства, которое ему предложит преподаватель, свободный от его догматических предписаний. Конечно! Однако отличие науки от веры заключается в следующем: "беспредписанная", в смысле свободы от всяких религиозных стеснений, наука в действительности не признает "чуда" и "откровения", в противном случае она не была бы верна своим собственным "предписаниям". Верующий признает и чудо, и откровение. И эта "беспредписанная" наука требует от него только одного — не менее, но и не более: признать, что если ход событий объяснить без допущения сверхъестественного вмешательства, исключаяемого эмпирическим объяснением в качестве причинного момента, этот ход событий должен быть объяснен именно так, как это стремится сделать наука. Но это он может признать, не изменяя своей вере.

Однако имеют ли научные достижения какой-нибудь смысл для того, кому факты как таковые безразличны, а важна только практическая позиция? Пожалуй, все же имеют. Для начала хотя бы один один аргумент. Если преподаватель способен, то его первая задача состоит в том, чтобы научить своих учеников признавать и **е у д о б н и е** факты, я имею в виду такие, которые с точки зрения из партийной позиции неудобны; а для всякой партийной позиции, в том числе и моей, существует такие крайне неудобные факты. Я думаю, в этом случае академический преподаватель заставит своих слушателей признать и тому, что он совершает нечто большее, чем только интеллектуальный акт, — я позволю бы себе быть нескромным и употребить здесь выражение "нравственный акт" — хотя это, пожалуй, может прозвучать патетически для такого простого и само собой разумеющегося дела.

До сих пор я говорил только о практических основаниях, в си-

лу которых следует избегать навязывания личной позиции. Но это еще не все. Невозможность "научного" оправдания практической позиции — кроме того случаи, когда обсуждается средства достижения заранее намеченной цели, — вытекает из более глубоких оснований. Стремление к такому оправданию принципиально лишено смысла, потому что различные ценностные порядки мира находятся в непримиримой борьбе. Старик Мичи — философия его в целом я не похвалю, но здесь он был прав — как-то сказал: если исходить из чистого опыта, то приходишь к nihilismu. Это сказано на-прямик и звучит парадоксально, но это правда. Сегодня мы хорошо знаем, что священное может не быть прекрасным, более того — оно священо потому и постыжно, поскельку не прекрасно. Мы найдем тому примеры в 53 главе Исаии и в 21 псалме. Мы знаем также, что прекрасное может не быть добрым и даже что оно прекрасно именно потому, что не добро, — это нам известно со времени Ницше, а еще ранее вы найдете это в "Цветках зла" — так Бодлер называл темки своих стихов. И уже ходячей мудростью является то, что истинное может не быть прекрасным и что нечто истинно лишь постыжно, поскольку оно не прекрасно, не священо и не добро.

Но это самые элементарные случаи борьбы богов, несовместимости ценностей. Как представляют себе возможность "научного" выбора между ценностью французской и немецкой культур, этого я не знаю. Тут тоже спор разных богов и демонов: точно так же, как эллины приносят жертву Афродите, затем Аполлону, и прежде всего каждому из богов своего города, так это происходит и по сей день, — только без действий и волшебства этого мифического образа действия, внутренне, однако, исполненного истинной пластикой. А этими богами и их борьбой правит судьба, а вовсе не "наука". Следует только понять, что представляет собой божественное для одного и что — для другого, или как оно выступает в одном и в другом порядке. Но тем самым кончается обсуждение предмета в аудитории профессором — это, разумеется, не означает, что вместе с тем кончается сама эта серьезнейшая жизненная проблема. Однако слово здесь уже не за университетскими кафедрами, а за иными силами. Какой человек откажется "научно опровергать" этику Нагорной проповеди, например, заповедь "непротив-

ления элу" или притчу о человеке, подставляющем и левую, и правую щеку? И тем не менее ясно, что здесь, если взглянуть на это с широкой точки зрения, проповедуется этика, требующая отказа от чувства собственного достоинства: нужно выбирать между религиозным достоинством, которое дает эта этика, и мирским достоинством, этика которого проповедует нечто совсем иное: "Противься элу, иначе ты будешь нести свою долю ответственности, если оно перескочит". В зависимости от конечной установки индивида одна из этих этических позиций исходит от дьявола, другая — от бога, и индивид должен решить, кто для него бог и кто дьявол. И так обстоит дело со всеми порядками жизни.

Величественный рационализм методически-этического образа жизни, которым проникнуто всякое религиозное пророчество, низложил это многобожие в пользу "Единого на потребу", а затем перед лицом реальностей внешней и внутренней жизни был вынужден ввести релятивизм и пойти на те компромиссы, которые всем нам известны из истории христианства.

Но сегодня это стало религиозными "буднями". Многочисленные древние боги, лишенные своих чар и поэтому приниженные образ безличных сил, выходят из гробов, стремятся завладеть нашей жизнью и вновь начинают вести между собой свою вечную борьбу. Но что так трудно современному человеку и труднее всего молодому поколению, так это быть вровень с этими буднями. Всякая погоня за "переживаниями" вырастает из этой слабости. Ибо не имеет сил взглянуть в суровое лицо судьбы, судьбы времени — это слабость.

Однако судьба нашей культуры состоит в том, что мы все отчетливее снова сознаем эту судьбу, тогда как в течение тысячелетий, проникнутые величественным пафосом христианской этики, мы не замечали этих сил. Но довольно обсуждать эти вопросы, уводящие нас слишком далеко. Все же среди части нашей молодежи, той части, которая на все это ответила бы: "Да, но мы идем на лекцию, чтобы пережить нечто большее, чем или только анализ и констатацию фактов", — ходячим является заблуждение, заставляющее искать в профессоре не то, что она видит перед собой: в о з л а , а н е у ч и т е л я . Это две разные вещи, в чем можно легко убедиться. В Америке такие вещи можно видеть

часто в их грубой переобитности. Американский мальчик учится несравненно меньше нашего. Несмотря на навероятно большое число экзаменов, он по самому духу своей учебной жизни еще не стал тем абсолютным "человеком экзамена", как мальчик-немец. Но бюрократия, которой нужен диплом, фиксирующий результаты экзамена и служащий входным билетом в мир человеческой карьеры, так еще только зарождается. Молодой американец не испытывает почтения ни перед чем и ни перед кем; ни перед традицией, ни перед службой; он уважает только собственную личную заслугу — вот это американец и называет "демократией". Как бы некажущее ни выступала реальность по отношению к этому идейному содержанию, идейное содержание именно таково, и об этом здесь идет речь. О своем учителе американский юноша имеет вполне определенное представление: за деньги своего отца он продаст мне свои знания и методические принципы точно так же, как торговка овцами продает мою матери капусту. И точка. Впрочем, если учитель, например, футболист, то в этой области он выступает в качестве вояды. Но если он таковым (или чем-то подобным в другом виде спорта) не является, то он только учитель и ничего больше, и молодому американцу никогда не придет в голову покупать у него "мировоззрение" или правила, которыми следует руководствоваться в жизни. Конечно, в такой грубой форме мы это отвергаем. Не разве в этом намеренно заостренном ином способе чувствования не содержится зарно истины?

Студенты приходят к нам на лекции, требуя от нас качества вояды, и не отдают себе отчета в том, что из сотни профессоров по меньшей мере девяносто девять не только не являются мастерами по футболу жизни, но вообще не претендуют и не могут претендовать на роль "вождя", указывающих, как надо жить. Ведь ценность человека не зависит от того, обладает ли он качествами вояды или нет. И уж во всяком случае не те качества делают человека отличным ученым и академическим преподавателем, которые превращают его в вояду в сфере практической жизни или, специальное, в политике. Если кто-то обладает еще и этим качеством, то это чистая случайность, и очень опасно, если каждый, кто занимает кафедру, чувствует себя вынужденным притязать на обладание таковым. Еще опаснее, если всякий академический преподаватель

задумает выступать в аудитории в роли вождя. Ибо те, кто считает себя наиболее способными в этом отношении, часто как раз наименее способны, а главное — ситуация на кафедре не предоставляет никаких возможностей **д о к а з а т ь**, способны они или нет. Профессор, чувствуя себя призванным быть руководителем ордена и пользующийся у него доверием, в личном общении с молодыми людьми может быть своим человеком. И если он чувствует себя призванным выдвинуться в борьбу мировоззрения и партийных убеждений, то он может это делать вне учебной аудитории, на жизненной сцене: в печати, на собраниях, в кружке — где только ему угодно. Не было бы слишком удобно демонстрировать свое призвание там, где присутствующие — в том числе, возможно, инакомыслящие — вынуждены молчать.

Наконец, вы можете спросить: если так, то что же собственно позитивного дает наука для практической и личной "жизни"? И тем самым мы снова стоим перед проблемой "призвания" в науку. Прежде всего наука, конечно, разрабатывает технику овладения жизнью — как внешними вещами, так и поступками людей — путем расчета. Однако это на уровне торговли овощами, скажите вы. Целиком с вами согласен. Во-вторых, — и это уже обычно не делает торговка овощами, — наука разрабатывает методы мышления, рабочие инструменты и вырабатывает навыки обращения с ними. Вы, может быть, скажите: ну, это не овощи, — но это тоже не более как средство приобретения овощей. Хорошо, оставим сегодня этот вопрос открытым. Но на этом деле науки, к счастью, еще не кончается, — мы в состоянии содействовать вам в чем-то третьем, а именно, жизни в приобретении **ж е н с т и**. Разумеется, при условии, что она есть у нас самих.

Насколько это так, мы можем вам пояснить. По отношению к проблеме ценности, о которой каждый раз идет речь, можно занять практически разные позиции — для простоты я предлагаю вам брать в качестве примера социальные явления. Если занимают определенную позицию, то в соответствии с опытом науки следует применить соответствующие **с р е д с т в а**, чтобы эту позицию практически провести в жизнь. Эти средства, возможно, уже сами по себе таковы, что вы считаете необходимым их отвергнуть. В таком случае нужно выбирать между целью и неизбежными средствами ее. "Обязывает" цель эти средства или нет?

Учитель должен показать вам необходимость такого выбора. Большего он не может — пока остается учителем, а не становится де-магогом. Он может вам, конечно, сказать: если вы хотите достигнуть такой-то цели, то вы должны принять и соответствующие следствия, которые, как это показывает опыт, влечет за собой деятельность по достижению этой цели.

Ведь эти проблемы могут возникать и у каждого техника, ведь он тоже часто должен выбирать по принципу меньшего зла или относительно лучшего варианта. Для него важно, чтобы было дано одно главное: цель. Не именно она, поскольку, речь идет о действительно "последних" проблемах, нам не дана. И тем самым мы подошли к последнему акту, который наука как таковая должна осуществить ради достижения ясности, и одновременно подошли к границам самой науки.

Мы можем и должны вам сказать: такие-то практические установки с внутренней последовательностью, и, следовательно, с честностью можно вынести — в соответствии с их духом и с такой-то последней или мировоззренческой позицией (может быть, из одной, может быть из разных), а из других — нельзя. Если выбираете эту установку, то вы служите, образно говоря, одному богу и оскорбляете всех остальных богов. Ибо если вы останетесь верными себе, то вы необходимо приходите к определенным последним внутренним следствиям. Это можно сделать, по крайней мере, в принципе. Выявить связь последних установок с их следствиями — это задача философии как социальной дисциплины и как философской базы отдельных наук. Мы можем, если понимаем свое дело (что здесь должно предполагаться), заставить индивида — или по крайней мере помочь ему — дать себе отчет в конечном смысле собственной деятельности. Это мне представляется отнюдь не маловажным даже для чисто личной жизни. Если какому-нибудь учителю это удастся, то я бы сказал, что он служит "правдивым" силам, поскольку вносит ясность; что он тем лучше выполняет свою задачу, чем добросовестнее будет избегать внушать слушателям свою позицию, свою точку зрения.

То, что я вам здесь излагаю, вытекает, конечно, из главного положения, а именно из того, что жизнь основана на самой

себе и понимаемая из нее самой, знает только вечную борьбу богов, знает (если не прибегать к образу) только несоизмеримость наиболее принципиальных, вообще возможных экзистенциальных позиций и непримиримость борьбы между ними, а следовательно, необходимость между ними выбирать. Заслуживает ли наука при таких условиях того, чтобы стать чьим-то "призванием", есть ли у нее какой-нибудь какой-либо объективный ценный "признание" — это опять-таки непростое суждение, которое невозможно обсуждать в аудитории, ибо утвердительный ответ на этот вопрос является предпосылкой занятий в аудитории. Я лично решил вопрос утвердительно уже моей собственной работой. И утвердительный ответ на этот вопрос является также предпосылкой той точки зрения, которая и — как это делает сейчас или по большей части притворяется, что делает, молодежь — ненавидит интеллигентизм как злейшего дьявола. Ибо тут справедливы слова: "Дьявол стар — состарьтесь, чтобы понять его". Это надо понимать не буквально, а в том смысле, что желая покончить с этим дьяволом, при виде его надо не обратиться в бегство, как это предпочитают делать, а с начала до конца обозреть его пути, чтобы увидеть его силу и его границы.

Сегодня — это профессия, осуществляемая как таковая специальная дисциплина и служащая делу самосознания и познания фактических связей, а вовсе не милостивый дар провидцев и пророков, приносящий спасение и откровение, и не составная часть размышлений мудрецов и философов о с м ы с л е мира. Это, несомненно, неизбежная данность в нашей исторической ситуации, из которой мы не можем выйти, пока остаемся верными самим себе.

И если в нас вновь заговорит Толстой и спросит: "Если не наука, то кто ответит на вопрос: что нам делать, как устроить нам свою жизнь?" — или на том языке, на котором мы говорим сегодня: "Какому из борющихся друг с другом богов должны мы служить? Или, быть может, какому-то совсем иному богу, — и кто этот бог?" — то надо сказать: ответить на это может только пророк или Спаситель. Если его нет или его благовестованию больше не верит, то вы совершенно определенно ничего не добьетесь тем, что тысячи профессоров в качестве оплачиваемых государством или привилегированных маленьких пророков в своих

аудиториях пытаются взять на себя его роль. Тем самым лишь воспрепятствуете осознанию того, что нет пророка, но кто-то тескует столь многие представители нашего молодого поколения. Я думаю, что не пойдет на пользу действительно "музыкальному" в религиозном отношении человеку, если от него, и от других будут скрывать тот основной факт, что его судьба - жить в богочуждую, лишенную пророка эпоху. - если это будут скрывать с помощью суррогата, каким являются все эти пророчества с кафедр. Мне кажется, против этого должна была бы встать его религиозная честность.

Но как отнестись к факту существования "теологии" и к ее претензиям на "научность"? Попробуем не уклоняться от ответа. "Теологии" и "догмы", правда, существуют не во всех религиях, но и не только в христианстве. Если оглянуться на прошлое, то можно увидеть их в весьма развитой форме также и в исламе, в манихействе, у гностиков, в суфизме, парсизме, буддизме, в индуистских сектах, в даосизме, в упанишадах, в иудаизме. Но разумеется, в систематическое развитие они получили в разной мере. И не случайно западное христианство, в противоположность тому, что создал в области теологии иудаизм, не только более систематически развило ее (или стремится к этому), но здесь ее развитие имело несравненно большее историческое значение. Начало этому положил эллинистический дух, и вся теология Запада восходит к нему точно так же, как, очевидно, вся восточная теология восходит к индийскому мышлению.

Всякая теология представляет собой интеллектуальную р
 ц и о н а л и з а ц и ю религиозного спасения. Ни одна наука не является абсолютно беспредпосылочной, и ни одна наука не может доказать свою ценность тому, кто отвергает ее предпосылки. Впрочем, всякая теология для своей работы и тем самым для оправдания своего собственного существования добавляет некоторые специфические предпосылки. Они имеют различный смысл и разный объем. Для всякой теологии, в том числе, например, и для индуистской, имеет силу предпосылка: мир должен иметь с м и с л , и вопрос для нее состоит в том, как толковать мир, чтобы возможно было мыслить этот смысл?

Кант в своей теории познания исходит из предпосылки: науч-

ная истина существует и имеет силу, а затем ставят вопрос: при каких мыслительных предпосылках это возможно (имеет смысл такое утверждение)? Точно так же современные эстетиким (осознание — как, например, Георг фон Лунач — или просто фактически) исходят из предпосылки, что существует произведение искусства, а затем ставят вопрос: как это в конце концов возможно?

Правда теологии, как правило, не удовлетворяются этим (по существу, религиозно-философской) предпосылкой, а исходят из предпосылки более далекой идущей — из веры в "откровение" как факт, важный для спасения, т.е. впервые делающий возможным осмысленный образ жизни. Они допускают, что определенное состояние и поступки обладают качеством святости, т.е. создают образ жизни, исполненный религиозного смысла.

Вы опять-таки спросите: как истолковать эти просто должностующие быть принятыми предпосылки, чтобы это имело какой-то смысл? Самы эти предпосылки для теологии лежат по ту сторону того, что является "наукой". Они служат не "знанием" в обычном смысле слова, а скорее, некоторым "достоинством". У кого нет веры или всего прочего, необходимого для религии, тому их не заменит никакая теология. И уж тем более никакая другая наука. Напротив, всякой "позитивной" теологии верующий достигает того пункта, где имеет силу положение Августина:

("верую не в то, что, а потому что абсурдно". — Ред.). Способность к этому виртуозному акту "принесения в жертву интеллекта" — есть главный признак позитивно-религиозного человека. И это как раз свидетельствует о том, что напряжение между ценностями сферы науки и религии непреодолимо, несмотря на существование теологии (а скорее даже благодаря ей).

"Жертву интеллекта" обычно приносят: икона — пророку, верующий — церкви. Но еще никогда не возникало новое пророчество (я намеренно привожу здесь еще раз этот образ, который для многих был предсудительным) оттого, что некоторые современные интеллектуалы испытывают потребность, так сказать, обставить свою душу антикварными вещами, подлинность которых была бы гарантирована, и при этом вспоминают, что среди них была

и религия; ее у них, конечно, нет, но они соорудают себе в качестве эрзаца своеобразную домашнюю часовню, для забавы украшенную иконами святых, собранными со всех концов света, или создают суррогат из всякого рода переживания, которым приписывают достоинство мистической святости и которыми торгуют вразнос на книжном рынке. Это или надувательство, или самообман. Напротив, отнюдь не надувательство, а нечто серьезное и настоящее (но, быть может, неправильно истолковывающее себя) имеет место тогда, когда некоторые выдающиеся люди, выросшие в тени последних лет, видят в своей человеческой общности религиозную, космическую или мистическую. Всякий акт подлинного братства вносит в надличное царство нечто такое, что остается навечно: но мне кажется сомнительным стремление возвысить достоинство чисто человеческих отношений и человеческой общности путем их религиозного истолкования. Однако здесь не место обсуждать этот вопрос.

Судьба нашей эпохи, с характерной для нее рационализацией и интеллектуализацией и прежде всего расчленением мира, заключается в том, что высшие благороднейшие ценности ушли из общественной сферы или в потустороннее царство мистической жизни, или в братскую близость непосредственных отношений отдельных индивидов друг к другу. Не случайно наше самое высшее искусство интимно, а не монументально; не случайно сегодня только внутри узких общественных кругов, в личном общении, крайне тихо, pianissimo, пульсирует то, что раньше буйным пожаром, пророческим духом проходило через большие общины и сплачивало их. Если мы попытаемся насильственно привить вкус и монументальному искусству и "изобретем" его, то появится нечто столь же жалкое и безобразное, как то, что мы видели во многих памятниках последнего десятилетия. Если попытаться ввести религиозные новообразования без нового, истинного пророчества, то возникает нечто по своему внутреннему смыслу подобное — только еще хуже. И пророчество с кафедры создаст в конце концов только фантастические секты, но никогда не создаст подлинной общности. Кто не может душевно вынести этой судьбы эпохи, тому надо сказать: пусть лучше он молча без публичной рекламы, которую обычно создают ренегаты, а тихо и просто

вернется в широкие и многосторонне охваченные объятия древних церквей. Это ведь не труд. Он должен при этом так или иначе принести в "жертву" интеллект — это неизбежно. Мы не будем его перичать за это, если он действительно в состоянии это сделать. Ибо подобное принесение в жертву интеллекта ради безусловной преданности религии есть все же нечто в нравственном отношении иное, чем попытка уклониться от обязанности быть интеллектуально добросовестным, что бывает тогда, когда не имеет мужества дать себе ясный отчет относительно собственной конечной позиции, а облегчают себе выполнение этой обязанности с помощью драбного релятивизма. Та позиция представляется мне более высокой, чем кафедральное пророчество, не дающее себе отчета в том, что в стенах аудитории находит значения никакая добродетель, кроме одной: простой интеллектуальной честности. Но эта честность требует от нас констатировать, что сегодня положение тех, кто идет новых пророков и спасителей, подобно тому положению, о котором повествуется в одном из пророчеств Исаии, — речь идет здесь о прекрасной песне едемского сторожа времен изгнания евреев: "Как мне кричит с Сина: сторож! сколько ночи? сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. Если вы действительно спрашиваете, то обратитесь и придите"

Народ, которому это было сказано, спрашивал и ждал более двух тысячелетий, и мы знаем его потрясенную судьбу. Из этого надо извлечь урок: одной только тоской и ожиданием ничего не сделаем, и нужно действовать по-иному — нужно обратиться к своей работе и соответствовать "требованию дня" — как человечески, так и профессионально. А требование это будет простым и ясным, если каждый найдет своего демона и будет послушен этому демону, ткущему нить его жизни.